

НЕЗНАКОМКА

Не может быть, чтобы вы не видели картину Ивана Крамского «Незнакомка». На самом деле картина называется «Неизвестная», написана она в далёком тысяча восемьсот восемьдесят третьем году и хранится сейчас в Третьяковке. Помните, там изображена сидящая в коляске красивая черноокая дама, одетая дорого и элегантно: на ней шляпка с лёгкими перьями, пальто украшено собольим мехом и атласными лентами. Смотрит немного насмешливо. Кто она? Историки говорят, что «кодекс неписаных правил исключал строгое следование моде в высших кругах русского общества», и перед нами не дама из высшего света.

Помню, как впервые в детстве увидела «Незнакомку», но не в Москве, не в музее. Висела репродукция этой картины справа от печки. И это было единственное украшение избы, потому как даже икон не помню. Тусклый свет просачивался в немытые окна, лоснился по полу, спотыкался о сундук, взбирался по брёвнам и вдруг вспыхивал ярче, оживал, удивлённый, и силился понять, как и почему в этой грязной серой комнате оказалась такая непостижимая красота.

Но тут из кухни, приютившейся за печкой, неся за собой керосиновый дух, вышла тётя

Зоя, и всё стало понятно, всё очевидно: это же она на картине, только шляпку надень – и готово: прекрасная незнакомка, тётя Зоя, прабабушкина соседка. Жила она с моей Анисей через стенку, в деревянном доме на двух хозяев. Сколько они прожили так, под одной крышей, не знаю, я бывала наездами, да и детство – такая пора, когда память сохраняет запах мокрых топей и вяжущий вкус черёмухи, но презирует даты.

У тётя Зои был старый отец, дядя Коля, он всё время сидел на заборчике, плакал, разинув беззубый рот, курил самокрутки и сплёвывал в малинник. Разумеется, ягоды есть мне было запрещено. И я совсем не расстроилась, узнав однажды, что дядя Коля умер. Прабабушка сказала, что он «все мозга пропил и сам во всём виноват».

Дядя Коля несколько раз сидел в тюрьме то за воровство, то за хулиганство, дети его выросли без него, разъехались кто куда, жена умерла ещё раньше, и только тётя Зоя не бросала отца до самой его кончины.

Вскоре умерла и моя прабабушка. Я больше не бывала в том доме. Но однажды, когда мне было уже лет семнадцать, всё же довелось встретить тётю Зою ещё раз.

Помню, как поздно вечером её выкинули из машины прямо на глазах у запоздалых про-

хожих, возле рынка. Она была сильно пьяна, отползла по разбитому асфальту на обочину и замычала матерные ругательства. Передние зубы у неё были выбиты, рваное платье – в блевотине. Несмотря на всё это, я узнала её спустя столько лет. Мои друзья перестали жевать чипсы и пить пиво и наблюдали за происходящим. А я отвернулась.

До сих пор не знаю, что именно вызвало острое чувство стыда: сценка, свидетелем которой стала, или то, что я сделала вид, что мы с тётёй Зоей не знакомы?

НЕРАСКАС

Мне никогда не забыть летний вкус пресной лепёшки, которую прабабка Анися пекла на плитке-керосинке. Анисе – девяносто, мне – шесть. Сначала – мука на столе и, мы в четыре руки месим тесто. Потом из бутылочки льём керосин в плитку и поджигаем. На всякий случай кашеварили в сенцах и ставили рядом ведро воды. На чугунной сковородке пекли лепёшку. И потом Анися кидала на деревянные порошки старую телогрейку, и мы сидели, и ели, и наблюдали, как ветер раскачивает ветви черёмухи, и смотрели на редких прохожих, и слушали, как соседи пилят дрова.

Мне не забыть запах свежей стружки, то, как её кудряшки в конце лета душистым ковром застилают дорогу к дому. И так по всей улице! Но это предвестник осени. А потом мелькает и ускоряется: синие, розовые, белые астры, грустное небо и запах костра, выцветшая листва – и спутанные волосы сухой травы, и грачи ставят галочку: осень.

А как-то Анися сказала, что я расту вверх, а она – вниз, и когда-нибудь станет такой маленькой, что исчезнет...

Мне никогда не забыть, как пахнет только что пойманная рыба, уснувшая на льду, но живая; огромные дедушкины валенки, обметённые веником, но ещё источающие мороз. Если я влезала в них, то как раз было по самый корешок... А ёлка, которую занесли в дом, а до этого хранили в сарае! Молодая пушистая сосёнка, с сильным смолистым запахом. Сама холодная с улицы, а запах – тёплый.

И вот – приносят ящик со старой гирляндой, стеклянными игрушками на прищепках и ниточках. Мне очень нравится волшебник, и гриб, и ещё домик с окошком – они крепятся прямо к веточке и словно стоят на ней. А жёлтый про-

зрачный шарик с крутящейся бабочкой внутри! Можно долго смотреть, как она юлит, белая, с чёрными точками на крыльях. Инь и ян моего детства.

А вот ещё. Зимой темнеет рано. Фонари освещают аллею, голые ветви тополей отбрасывают страшные тени. Хрустит под бабушкиными валенками снег. Я – в санках, в шубейке и рукавицах, укутанная для верности пуховым платком. Купили муку, и я уютно сижу, обхватив пакет руками, и ковыряю в нём дыру. А бабушка идёт впереди, тащит за верёвочку санки. И воздух пахнет дымом из труб. А дома ждёт Анися, и бабушка с порога кричит: «Мам, мы пришли!». И после плачет и смеётся одновременно, обнаружив пустой пакет из-под муки...

И вот этого мне не забыть. Я уже старше. Острый нож – и сочащийся луковый сок, влажное небо вваливается в форточку, впитывает запахи. На мне синий байковый халат в нарисованных чайничках, волосы собраны в хвост. Штрихпунктирная нарезка лука: точка – воткнуть нож, тире – разрезать. И звонок в дверь, и щелчок замка, и телеграмма, и тихий голос отца: «Анисию убили».

Она смешно говорила «дефир» вместо «зефир». У неё оставался только один зуб. Она ела по ночам, а днём спала под громкое радио. Бывало, я пряталась у неё под кроватью и мяукала, а прабабушка, проснувшись, шуровала веником, прогоняя кота, и я прыскала от смеха. Анися зажигала лампадку перед иконой из плотной фольги и говорила, что на небе Бог и ангелы, а я тогда не верила и смеялась.

Мне тогда всё было так смешно!

ХРУМЧАЖНЫЕ СНЫ

– Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь покрупчал в окно...

– Ты можешь прожевать, а потом читать?! – возмутилась Кира. – Бредятина какая-то получается!

А по-моему, прелестно, по-моему, самое то, что надо. Поцелула вместо поцеловала – это же необыкновенное слово! Хм.

...Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь покрупчал в окно...

Кира тоже жевала, лопала, нямчила за обе щеки пиццу.

– А знаешь, – сказала она, облизывая с пальцев соус. – Первую пиццу сделали в Неаполе в каком-то маховом году, это была бед-

86

няжкая еда, хлеб и помидорный соус, по сути. Ну а теперь эта еда в самой старой пиццерии Неаполя знаешь сколько стоит?!

– Кир, а там вкуснее пицца? – спрашиваю, а сама смотрю, сколько уже Кирка кусков съела, вот прожорливая.

– Хгмгпфш! – чавкает она. – Конечно, там вкусней! Свежайший соус, понимаешь, да и сыр там тако-о-о-о-ой, ммм, а помидоры таки-и-ие! Солнечная Италия, ясное дело.

Кира уже много где побывала, её отец часто бывает в заграничных командировках и берёт дочь с собой. Кира – блондинка, никакая не крашенная, а самая настоящая, от рождения. Цвет волос у неё восхитительный. И кожа такая чистая, чуть загорелая, розовато-фруктовая. И грудь уже вполне привлекательных размеров. Не то что я: бледная до зелени, с блёклой косичкой и тощая. Я много читаю и много мечтаю. Кирка говорит, что я тургеневская девушка. И это не комплимент.

Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь покрупчал в окно...

– Погода отличная. Пойдём сейчас на речку, а вечером – на костёр, – скомандовала Кира.

У неё красивый купальник, новые туфли на каблуках, короткая юбка-шорты и замшевая жилетка с бахромой. И всё сидит на ней как влитое. А на меня даже купить что-то подходящее сложно. Не в детском же отделе закупаться в шестнадцать лет?!

– Кир, дашь на вечер свою жилетку? – не люблю просить, но прошу, так как сегодня новые парни придут на костёр, и я хочу их сразить.

– Бери, – позволяет великодушная Кира. – Только тебе ж велико...

– Нормально, согдится! – радуюсь я возможности понтонуться.

«Два, пятнадцать, девяносто два, – повторяю про себя, – два, пятнадцать, девяносто два. Лишь бы не забыть, прихожу и записываю в блокноте рядом с выписками из Лермонтова и Ахматовой: «2-15-92». В коричневом блокноте теперь не только буквы, не только рисунки, здесь первые цифры, и это его номер, его номер. Я поцелула тебя... И фонари маяками светили путь... А на реке лягушки озверели от страсти и теперь орут – не квакают, надрываются в темноте... И половинка луны так устало смотрит в окно... А комары чёрными точками в белом потолке – затаились, ждут, сволочи, когда я выключу свет и лягу смотреть свои хрум-

чажные сны, а они кинутся на меня всей стаей и будут восторженно чавкать. А их комарий командир скомандует: «Два-пятнадцать! Марш! И девяносто два! Чвафк!» А я уже сплю, положив под подушку блокнот, наполненный мечтами и мыслями – моими и великих.

«Я готов был любить весь мир, меня не поняли – и я выучился ненавидеть» (Лермонтов).

«Время – бархатный чёрный шар, катится скользкой дорогой» (Элюар).

«От любви твоей загадочной, как от боли, в крик кричу, стала жёлтой и припадочной, еле ноги волочу» (Ахматова).

«Я не хочу на шахматной доске фигуркой быть» (я).

– Доча, побольше пофигизма! – пожелала мне мама на день рождения. – Ты хорошая девочка, даже слишком, у тебя комплекс отличницы. Поэтому побольше тебе пофигизма!

А я привыкла маму слушать, поэтому летом стараюсь не только учить английский и читать книги из сельской библиотеки, но и гулять, наблюдать, нравиться. Вот сегодня поплыли на лодке на Мельников сад, это местечко такое, где до революции жил мельник, там и сейчас большой яблоневый сад, а в высоком берегу живут стрижи. Дом не уцелел, а вот в протоке между островами нужно быть осторожным: как гнилые зубы, торчат под водой сваи от старого деревянного моста. Налетишь на них – мало не покажется.

Кира сильная, без видимых усилий управляет с веслом. Сидит на хвосте лодки, и только видно: широкий взмах и спокойное вжить – весло погружается в упругую воду, отталкивается от неё, а потом – р-раз – поворачивается и, словно рычаг, выравнивает движение лодки. Когда я сажусь рулевым, мы беспомощно кружимся посреди реки на потеху ребятишкам на берегу.

– Ничего, – утешает Кира. – Ты просто ещё не привыкла, научись.

Чудесная, великодушная Кира! Золотовла- сая Кира!

– Смотри! Там твой, вчерашний, – вдруг говорит она.

И я падаю-лечу-парю, но всё это никому не заметно, только спина напряжённая такая, ровная. А Кирка меня знает.

– Ну чего ты?

А я чего... Груды у меня нету, в купальнике смотрюсь как малёк плотвы. Если он чего в темноте не заметил – сейчас разглядит, и пиши пропало мои мечты. А он вон какой! На тарзанке

мотается, потом делает сальто и – вжих! – дух захватывает от его полёта! И в воду входит, как в мои сны: смело и упруго.

– Ты, главное, виду не подавай, что рада его видеть. И страх не показывай. Держись как ни в чём не бывало. Пусть сам подойдёт. А ты спокойно так: «А, привет. И ты тут?» – советует Кира, а лодка неумолимо приближается к пляжу, и проплывают мимо стрижиные гнёзда и заросли ежевики, и чья-то пучеглазая коза вытаращилась на меня, даже жевать перестала. Я сижу с такой спиной, что можно сразу в балет, и забываю дышать. А возле тарзанки – шум, смех и всплески воды.

Я давно уже за Киркой наблюдаю и многому у неё научилась. Самому важному научилась, о чём Тургенев и Бунин ни гугу: быть женщиной. И вот тут, конечно, грудь очень помогла бы, но не она главное. Важно держаться уверенно, смело, обещать взглядом, но ничего не предпринимать самой, позволять – и ускользнуть, не навязываться, не просить. И уходить, если что не так, гордость тоже нужна, не меньше груди.

...Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь покрупчал в окно...

Я расправила плечи, задрала подбородок и, улыбаясь всем и никому, вышла из лодки.

